

Игорь Талеев

Наскальные надписи



заговор

Игорь Галеев

Наскальные надписи. заГОВор

«Издательские решения»

Галеев И.

Наскальные надписи. заГОВор / И. Галеев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-962857-2

Автор — ни писатель и ни поэт, ни драматург и ни философ — все эти наименования выродились в узкий профессионализм, в способы обычного выживания. Автор доверяет свободе творческого сознания.

ISBN 978-5-44-962857-2

© Галеев И.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| З а Г О в о р | 6 |
| Предвариловка | 7 |
| Дети подземелья | 8 |
| Уродец | 12 |
| Ход Зуми | 15 |
| Абориген | 19 |
| Проба пера | 21 |
| Шок – 1 | 24 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 25 |

Наскальные надписи заГОВор

Игорь Галеев

© Игорь Галеев, 2019

ISBN 978-5-4496-2857-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

З а Г О в о р

*Инициация
отчаявшихся и вопиющих
в беспамятстве*

Предвариловка

Мы, Ядид, Хетайрос и Филос, после долгого бездействия, начиная этот путь, желаем извлечь из будущего своих последователей и приверженцев – чтобы именами нашими и словами нашими не возводились царства, государства и храмы.

*Мы сумеем достойно и стойко пройти нами же избранный путь и **выбрать** то, что нужно.*

*Мы призываем стихии земные и небесные, силы разрозненные войти в нас и соединиться ради последнего **выбора**. Пусть эти силы дадут нам необходимые возможности, ясность и избавление от тяжёлых недугов, и желчь и ненависть переплавят в упорство и твёрдость.*

*И пусть **слово** наше не будет суетным и поспешным, сможет вычленишь из скрытых уголков жизни все чувства и лица лучшие, и да не коснётся наших умов иллюзия, а только естественное и должное.*

*Мы призываем удачу сопутствовать нам, и чтобы каждое растение узнавало нас, и власть смерти перешла к нам, пока мы не вернёмся домой с **Добычей**.*

*И будет **желание** наше волей нашей, и если нам не будет суждено пройти до конца, то да начнётся всё с начала и обернётся к нам.*

*Мы, единство, сохраним **одного** и не откажемся от множества, и в бесконечности найдём себя, и увидим во всём единое.*

*Пусть **будет** по силе чувств наших и по воле слов наших, и всё, нами узнанное и принятое, нас сохранившее и нами взлелеянное, с нами прошедшее и разделившее нас – всё, способное нас объять, войдёт в единственное и настоящее наше **целостное Я**.*

Дети подземелья

Чудо – это воля, это когда по слову – захочешь и получишь. Как бы из ничего. Что же такое Ничто? И что значит – как бы?

Я думал об этом набегу, когда у меня только-только вырисовывались в голове контуры пути...

Автоматная очередь резанула по камням, и осколки и пули заматались по стенам подземелья.

Я оглянулся – лучи фонарей осветили остановившегося Ядид, и вторая очередь прошла его насквозь. Кровь брызнула мне в лицо. Он дрогнул и будто электрические разряды пробежали по его телу...

«Бежим!» – закричал телохранитель Горбачёва, а Ядид, пробегая рядом со мной, улыбнулся: «До чего банальное оружие», – и показал мне яму, полную кишачих змей и каких-то неприятных красных жучков.

Самые лучшие сапоги, хотя бы и царские, не становятся произведением искусства. Потому что они созданы для тела. А между тем существует целая громадина якобы ненужных предметов и неисчислимое множество бумажных миров.

Дорога была выбрана не из лучших. И я не понимал, зачем они вовлекли Горбачёва – по моим понятиям он был мимолётной фигурой в истории. Или они пошли по лёгкому пути, зная, что политическая сфера наиболее уступчива для слова?

Где-то позади опять открыли стрельбу, но я уже не пригибался, полагая, что Ядид первым примет мою порцию пуль.

Спокойствие души и беззлобие – вот что сейчас мне нужно. И если даже телохранитель Горбачёва пристрелит меня, всё равно ему не удастся спасти Михаила Сергеевича от смерти и от забвения, из которого его извлёк Филос. Михаилу Сергеевичу дарована вторая жизнь, и сейчас он всё ещё как бы во сне, он бежит впереди телохранителя, подталкиваемый его бесцеремонными руками, вспотевший и красный, с расхлестанным воротом рубашки, с галстуком маятником, он похож сегодня на милого нэпмана, пристреленного чуть позже в подвале некоей Лубянки.

Ненужное телу приобрело катастрофический размах – оно сделалось бесспорным доказательством бытия духа. И если кто-то и встречал инкрустированные чашечки – то ему бы следовало понять, что они не для потребления, они – символ – искривлённое отражение беспочвенного сознания – творческий тупик, если угодно. И поэтому не стоит есть из них деликатесы.

Никогда бы не подумал, что под землёю так много дорог. Мы бежим уже минут двадцать, ныряя то вправо, то влево. Настоящий лабиринт. А тут ещё громадина бронетранспортёра.

– Заводи! – кричит телохранитель.

Он и ещё один, с бронетранспортёра, закидывают наверх Горбачёва и запикивают его в люк. Бронетранспортёр взревел и выпустил копоть, я кашляю и лезу на крышу.

– А этот кто такой? – хватает меня за волосы ещё один, – что у него за вид?

Вид, как вид, думаю я, вот только поза идиотская. Я стою на четвереньках, уцепившись за железяку и лицо моё задрано кверху, так, что больно шее, и чувствую, как вместе с волосами от черепа оттянулась кожа.

- Да отпусти ты его! – дёргает этого малого Ядид, – он с нами!
- Он же почти голый!

Бронетранспортёр срывается с места и несётся в темноту, и только теперь меня охватывает ужас – я действительно почти голый и представляю, как сейчас моё тело вотрётся в стену туннеля. Какое-то количество минут я в безумном состоянии, я прижимаюсь к металлу, сжимаю пальцы и как парик отстреливаю волосы – всё, теперь им меня не оторвать.

«Поганцы! – шепчу я, вязкие слёзы текут по носу и убегают под грудь, – они и здесь готовы кого-нибудь унижить, они и здесь жлобы. Обормоты! Какой это тупой инстинкт – уничтожать слабого ради этой дурацкой жизни!»

И тут же вспоминаю свою мать и все свои гигантские детские обиды. Я представляю, как потом этому телохранителю нацепят побрякушку за его преданность, и он только в подвыпившем состоянии, очень редко, будет рассказывать, как у него однажды между пальцев осталась чья-то шевелюра.

– Ядид! Ядид! – бормочу я. – Приди ко мне на помощь! Мой верный Ядид, я на краю пропасти, мои пальцы не слушаются меня, под ногами твоя бездна со змеями, эта жуткая машина вотрёт меня в камень, о, как это глупо и мерзко, Ядид!

Уже без сознания я увидел мультипликационную жизнь – *посытался снег музейных фарфоровых ваз и кувшинов, сотни искусных кинжалов летели среди этого богатства и рассекали полотно гобеленов, раскалывали бюсты и вонзались в моё бесконечное тело, и каждый удар кинжала был звуком, звуки соединились в ритм и зазвучала музыка. Сначала барабаны, затем виолончель и скрипки, потом, вдруг, после какой-то страстной симфонической увертюры, занял одинокий гобой. Моё тело стало огромной холодной землёй – заснеженной равниной, на которую под эту музыку выходили из меня растрёпанные деревья.*

И я чокнулся.

Так бы сказали сведущие люди. Но откуда им знать, что на меня неприятно действует симфоническая музыка, и год от года я всё чаще утопаю в нежелании жить.

«Его мозг болен, он горит антоновым пламенем, и ему нет возврата к нормальным ощущениям», – сделает заключение сумасшедший психиатр и изобразит на своём лице сверхнормальное спокойствие. Как мне неприятны его чистые ногти и его пиджачок! Какая жестокая тупость живёт в его бегающих глазах! И до чего раздражают его авторучка и аккуратные папочки! В левом ящике стола у него лежит скорлупа от орехов – он любит их ядрышки, они активизируют работу его единственной извилины. И потому он не знает лабиринтов, ему не возможно представить, что я уже целую вечность несусь во мраке, вдавленный в железо бронетранспортёра.

– Ядид! – кричу я последним криком, и тут же мы останавливаемся у бронированных ворот.

Автоматчики наваливаются, и эти четырёхметровые громадины дремуче скрипят, распахивая пасть исторического бункера.

Там другой мир. Теперь стоит Филосу подуть на мои одеревеневшие пальцы – и они миглом оживают, я скатываюсь на бетон. Телохранители уносят Михаила Сергеевича за ворота, то же проделывают со мной Ядид и Филос.

Я ещё успеваю заметить, как в наш бронетранспортёр врежется машина догонятелей, и огненная волна взрыва обжигает мой безволосый череп. Ворота закрываются, и мы слышим истошный крик и мольбу автоматчика, не успевшего вместе с нами.

«Поздно», – говорит кто-то, и серия глухих взрывов бухает за воротами. Дрожат стены, с потолка сыпется и понятно, что если наши преследователи не сгорели, то теперь наверняка погребены.

– Это ад, это настоящий ад! Да оденьте же его! – срывается Горбачёв.

Мне на плечи накидывают шинель, я снова ощущаю запах военных, и черпаки, и чашки, вакса и кубики сахара, – всё это безжизненное проплывает перед моими глазами. Я начинаю видеть фрагментами: белое – Горбачёв, белое – Филос, белое – бритый затылок автоматчика...

Меня несут. Смотри-ка, Горбачёв заговорил, – думаю я, и уже вижу чьи-то пальцы, бросающие на дощатый пол вату. В глубине мозга резко вспыхивает нашатырь, и мгновенно проявляется помещение.

Двое солдат бьют прикладами в дверь, в трёх шагах от меня лежит труп офицера. На нём устаревшая форма, у него рыжие волосы и зеркальные сапоги. С удивлением я замечаю в руках у Горбачёва пистолет. Он стоит сбоку от двери, позади главного телохранителя. Дверь поддаётся и падает – из проёма бьёт яркий свет, и туда первыми врываются автоматчики. Во мне просыпается интерес, и я последним ступаю на ковровую дорожку.

Я уже понял, куда мы попали. Я только не припоминаю второго, сидящего в глубоком кресле, как бы затенённого, хотя света здесь вполне достаточно. А первый – гостеприимный Джугашвили выходит из-за стола и, пожимая руку Михаилу Сергеевичу, просит:

– Я хотел би, чтобы ви чувствовали сэба, как дома.

Главный телохранитель каким-то неуловимым движением валит Иосифа на пол, и тот, привычно скорчившись, стонет.

– Разгребай тут после тебя, гад! – пинает Михаил Сергеевич усатого, – напугал, а о других ты подумал?

Автоматчики бросаются помогать, бьёт и главный телохранитель. Джугашвили хрипит, из его рта сочится розовая пена:

– Располагайтэсь! – очень ясно произносит он и, передёрнувшись, затихает.

Я подхожу и, глядя в застывшие глаза, наношу свой единственный звериный пинок. Китель лопается, и через прореху на пол высыпаются курительные трубки, их мундштуки, как змеи, ползут из этой бутфорской утробы.

Что я сделал! Что я сделал! – терзаюсь я и отхожу в дальний угол.

Здесь карта звёздного неба – это окно в небо, я давлю на неё обеими руками, и она распадается двумя половинками, как ставни деревенского дома, и вселенский воздух освежает моё ноющее сердце.

«Филос, – шепчу я, – утешь во мне зверя, приласкай, погладь его, он перестанет рычать и ляжет у твоих ног красотой».

– Да это не ты его ударил, оглянись!

Я смотрю и вижу всю эту компанию, стоящую у вспученного трупа. Вместо себя я вижу у карты Ядида – в шинели и с забинтованной головой.

– А мы где с тобой, Филос? – смотрю я в его карие глаза.

– Мы тут же, тут же, – успокаивает он, – только тебя теперь зовут Хетайросом или Нефешем.

– Как это глупо звучит! – протестую я.

– Ничего, привыкнешь. Все привыкнут.

Михаил Сергеевич подходит к человеку в кресле и требует представиться.

– Только после Вас, уважаемый, – автоматически скрежешет тот.

– Я, Михаил Сергеевич Горбачёв! Вам говорит что-нибудь это?

– После Вас, после Вас, – вызывающе смеётся незнакомец, – Вам что-нибудь говорит это?

– Ну, ты, зубоскал!.. – начинает главный телохранитель. Но незнакомец мигом преобразается, делается совершенно иным, даже рост его меняется, он мелко-мелко кивает и трясёт Михаилу Сергеевичу руку.

– А, это ты!.. – успокаивается Горбачёв, – не троньте его, я его узнал. Всем спать.

Спать, спать... я ворочаюсь с боку на бок и не могу открыть глаза. Нужно открыть – я не могу уснуть и не просыпаюсь.

Я возвращаюсь из ничего и хочу вытащить из этого ничего *несуществующее*. Я силюсь встать, но вокруг тьма, и мне кажется, что спусти я ноги, они не найдут опоры, я буду долго лететь в тартарары, и Горбачёвы, и телохранители вновь вмуруют меня в железо бронетранспортёра.

Филос! – протягиваю я руки.

Он единственная моя опора, он не оставит меня, разбудит, и я уже вижу, как он сцепляет свои пальцы с моими и выдёргивает меня из тугой бочки небытия.

На этот раз я оказываюсь по-настоящему *голым*. И тогда под отдалённое *звучание моей симфонии* мы втроём бредём к выходу из подземелья.

Уродец

Если бы у Ингваря спросили, что такое добро, он ответил бы, что это пища зла. Зло съедает самое лучшее, по крайней мере на Земле, где даже святейшая девственница перерабатывается в желудке старости. Но кто он такой, чтобы ему задавать такие банальные вопросы?

Он смотрит в воду и воспроизводит реальность. Он знает, что вода – это телевизор, тысячелетний архив, который раскрывает любые тайны. Вода – свидетель, и сейчас Ингварь заставит его рассказать неизвестную историю, которая, если и не случилась, то теперь обязательно произойдёт.

Ингварь – это бездвижимость. У него нет рук и ног. Его кормит мать, она же усаживает его на унитаз, она же моет его обрубленное тело и она устраивает ему дни смеха. Ингварь смеётся. Он смеётся так, что у соседей делаются желудочные колики от злости. Соседи злы, потому что всегда бегают по кругу. Белки в колесе – это неврастеники.

Сегодня у Ингваря целый таз морской воды. Её привёз Геннадий. И Ингварю нет дела, что он бывший осведомитель, Ингварю важно, чтобы его слушали, как это умеет делать Геннадий, у которого сознание застыло на десятилетней отметке. У Геннадия уникальные уши, они чуть-чуть свисают, как у не чистопородной овчарки, и он засыпает лишь тогда, когда Ингварь вводит в комнату вечность. Она ложится тяжестью на геннадиевы ресницы, и он спит прямо на стуле, не опуская головы. Это кричит «караул!» его десятилетнее сознание, и геннадиев мозг спасительно гаснет. Ингварь смеётся.

Он берёт зубами обыкновенную клизму, толкает головой оконную раму и набирает чистого воздуха, потом спускает воздух в морскую воду – слышится шум моря, потом он откусывает от цветка пыльный лист и бросает его в плавание – где-то рядом кричат чайки, набегают волны, Ингварь дует на лист, лицо Геннадия тускнеет, и в комнату вливается море. Таз начинает светиться, он всё ширится, пока его края не становятся горизонтом, а вместо листа появляется светящийся пароход. Он дымит историей расцвета пароходства, и та самая патефонная музыка витает среди крика чаек.

Настроение у пассажиров превосходное. Они богатые люди, у них здоровые тела, мужчины и женщины взаимоувлечены, лысоватый капитан распираем от счастья – его мечта сбылась – и, прохаживаясь по рубке, он с ребяческим удовольствием слушает скрип своих новых ботинок. Ему есть чем гордиться – судно одно из новейших, и в салонах каждая металлическая штука сверкает игрушечной радостью. Коридорные дорожки мягко заглушают шаги, а в баре выбор вин из десяти стран. Длинные платья делают женщин загадочными, а мужчины борются с винными парами, важничают, чтобы не сказать что-нибудь глупое.

Ингварь пересчитывает их всех, и подставляет лицо тёплому ветру. Бельмо Луны высывается из-за горизонта, его отражение мигает и серебрится в волнах. Женская рука тайно гладит мужскую, и Ингварь долго наблюдает за нежными движениями и равнодушием ласкаемой руки. Он постепенно пропитывается этим ритмом, нежностью и усталостью. Он медленно разрывает материю на две половинки и входит в открывшееся пространство чужого мирка. Там хорошо и тихо. Там обман и счастье. Немного болезней и женское ожидание. Там всё нормально, если не считать непрочитанных книг. А это уже минус.

«Книги нужно читать», – говорит Ингварь.

«Что ты сказал, дорогой?» – останавливается рука.

«Я ничего не сказал, тебе показалось».

Мужская рука потянулась к бокалу. Женская, оставшись без дела, нервно забарабанила по дереву подлокотника.

«Красивая рука, – подумал Ингварь и сказал вслух: У Вас красивая рука».

Женщина оглянулась и ожидающе долго посмотрела на мужчину.

«Сегодня ветер какой-то особенный, – наконец произнесла она, – как бы шепчет что-то»...

«Зюйд-вест», – с достоинством ответил мужчина, а она быстро отвернулась, чтобы не увидеть, как он откровенно зевнёт.

«Классическая история», – улыбнулся Ингварь.

Он уже побывал в каютах, где встретил одну прехорошенькую девочку и подсказал ей, как сложить из бумаги кораблик. Ему самому было интересно, потому что бумага для кораблика была папиной реликвией – старой афишей, и Ингварь успел прочитать и перевести несколько слов. Папа оказался бывшим актёром и играл самого Отелло, по-видимому, он разбогател совершенно неожиданно, и пока не научился подбирать достойный для такого общества гардероб. Он единственный, кто болтал в баре сверх нормы и попробовал вина всех десяти стран. Девочка вытолкнула кораблик в иллюминатор и снова полезла в папин чемодан. Она не ведала, что а этот же миг в соседней каюте уже немолодая женщина медленно и театрально раздевалась.

Женщина, как бы нехотя, перебирала пальцами крючки и шнурки, обнажала плечи, ерошила волосы, и губы её шептали: «нет, нет!». Она жеманилась и уклонялась от собственных прикосновений. Она боролась, но самым чудесным образом успевала оценить свои движения и каждую отражённую в зеркале позу. Она была одна и делала то, на что бы никогда не решилась в действительности. У неё не было мужчин и она знала, что уже не будет. Ей никто не нужен. Она некрасива, но удивительно честна. Поэтому у неё никого не было. Ингварь сказал: «Бедняга!», а потом пожалел. Всё-таки она знала себе цену и не смогла переехать из царства иллюзий в государство фальши. Ингварь извинился, и его сожаление долго витало среди тонких духов её каюты...

А он пребывал на корме и вспоминал похожую историю.

Тогда он жил насквозь пропитанный сентиментальностью, и был глуп, опалённый этим греческим солнцем. А она – больна. Теперь он это понял. Она имела в виду бога. Её ежевечерняя молитва перерастала в экстаз, и она ждала его конкретной любви. А бог не приходил. Она рвала на себе одежду, и уже проклинала его, требовала расправы над собой, грозила ему. А он молчал. Молчал и Ингварь. И уйти от неё ему не давала сентиментальность. Но он бы ушёл, если бы она в тот вечер не взяла нож и не начала это кровавое истязание. И когда она обезумела от боли и вряд ли уже что-нибудь различала, он вошёл в её мазохистское безумие и стал для неё богом...

Ему сделалось грустно. Ветер задувал на корму дым из трубы, здесь было неуютно. Ему захотелось разбудить Геннадия и рассказать про девочку. Геннадий поднимет кончики ушей и будет облизываться, как кот. Геннадий пройдоха. Он мотается по всей стране и ничего не видит. Он приходит к Ингварю и как замороженный слушает урода, который никогда не покидает дом. Перед уходом он по привычке протянет руку и смутится всем своим десятилетним сознанием. Он и слушает потому, что оно у него такое.

Не нужно, чтобы он забирал канистру. Мать будет сливать в неё из таза воду, и он сможет ещё несколько раз попутешествовать. Его морской телевизор будет работать, пока не протухнет вода. Тогда он отдаст эту канистру, а сейчас он её спрячет. Он дотягивается до неё зубами и ловко подтягивает её к борту, резким движением головы он бросает её в море. Всё. Остаётся убрать клизму и разбудить Геннадия.

Он прощается с морем, смотрит на него сквозь сетку перил и вдыхает запахи. Они говорят ему о многом. Этой информации хватит не на один день. Ему бы ещё остаться, чтобы

понять, почему именно этот пароход и эти пассажиры. Их *пятьдесят шесть*, и кто-то из них настоящий. Но он утомлён воспоминанием о безумной гречанке, он слишком явно позволил себе воспроизвести тот шёпот на языке, которого он тогда не понимал. Ему хочется забыться, уснуть. Он дует, и лист удаляется, исчезая за гребешками волн.

Ингварь не успевает заметить, как на корме, чуть ниже того места, где был он, появляется человек. Он произносит совершенно нелепую фразу: «Наконец-то я свободен!» и шагает за борт.

Ни полёта, ни всплеска. Край кормы всего на полтора метра выше уровня моря.

Уже совсем темно, под угасающие звуки патефона, с *пятьюдесятью пятью* пассажирами, пароход удаляется от точки падения.

Правда, в одной из его спасательных шлюпок безмятежно спит легкомысленный Филос. Но он не в счёт.

Ход Зуми

Китай – страна большая и многолюдная.

На юге страны чего только не растёт. На севере тоже. На севере у них даже русские есть – переплывёшь реку Амур – и встретишь русского.

Всё у китайцев есть. И руки на месте, и Китайская Стена имеется, и тибетская медицина на каждом шагу, азиатские йоги встречаются, пагоды из далека видны. Колокольного звона только маловато, и белых медведей не встретишь. Но животный мир разнообразен. Это Хетайрос сразу отметил.

Быт китайский ему тоже понравился. Приём пищи, уборка помещений, посуду моют интересно. И дружелюбны. Китайским языком владеют отлично. Не говорят, а поют. Многие ходят в строгих недорогих мундирах. Очень удобно и выгодно: затеряться легко. И все – заядлые велосипедисты. Педали научаются крутить раньше, чем ходить. Быструю езду обожают. И любят острое и перчёное. Запахи особые, особенно в столице. «Пекин – город контрастов». Всякие дома встречаются – большие и маленькие. В одном месте есть урна, в другом мусор на земле. Есть усатые и безусые, даже высокие китайцы попадаются. А стены – то окрашенные, то нет – так что контрасты очень в глаза бросаются.

Филосу китайская одежда к лицу. С ним почему-то все здороваются, и он отвечает на чистом китайском диалекте. Я, говорит, из Шанхая. А Ядид больше на обкитаевшегося итальянца похож. И выговор у него латино-китайский. Они оба в массы легко вписались.

Один Хетайрос выделяется. Явно не китаец, хотя и с тростью. Больше напоминает интуриста, якобы с переводчиком и представителем власти. Языка китайского не понимает. «Хетайроса васа языка не понимайса», – говорит. Его никто и не спрашивает. Его почему-то игнорируют, а пожилые, завидев его, отворачиваются. Странно даже.

Филос подошёл к одному китайцу и говорит:

«Я из Шанхая, Пекин мне нравится».

А тот отвечает:

«А я родом из города Сиань, зовут меня Хо Дзу-ми».

«Приятно, – говорит Филос, – не соизволили бы Вы проводить нас в Старый город?»

«Завсегда рад, – говорит Хо Дзу-ми, – показать периферийным гостям пекинские шедевры».

И они вчетвером отправились по пыльным пекинским улицам.

Они шли и слушали китайскую музыку. Хо Дзу-ми был в чёрных очках, и это удивляло Хетайроса. Погода совсем не солнечная, а он в чёрных очках. Все остальные китайцы без них, а почему же он выделяется?

Думал он, не додумался и стал на китайских девушек заглядываться. Нравятся они ему: скромницы и труженицы, живут – ни католического, ни православного греха не ведают, бормочут себе буддистские молитвы. Глаза китайские и лица – лунные.

Его особенно поразило, что глаза у здешнего народа сплошь карие. Но Филос сказал, что и здесь встречаются альбиносы. Редко, но бывают. Филос – шанхаец грамотный, он запросто беседует с Хо Дзу-ми.

– Китайцы очень терпеливый народ, – говорит Хо Дзу-ми, – и в принципе архирелигиозный. Они подарили миру порох и чай, и люди изменились кардинально. Я думаю, что это не последний подарок.

– По-моему, они же первые обратили внимание на гусеницу-шелкопряда, – вставляет Ядид, – и, если мне не изменяет память, они же додумались до фарфора, бумаги, компаса и книгопечатания.

– Вам не изменяет память, – улыбается Хо Дзу-ми, – но ещё мы утвердили в мире образец стабильного управления государством, так что человечество всегда может вытащить его из копилки исторического опыта в случае крайней нужды.

– Япония тоже хорошая страна, – вкрадчиво произносит Филос.

Но Хо Дзу-ми пропускает его замечание мимо ушей. Он говорит об искусстве Китая, об иероглифах и сиамских близнецах, он поёт без умолку.

Хетайрос отстал и мечтает о завтрашнем дне. Не понимая ни единого слова, он находится в замкнутом пространстве. Он мир в мире. Его никто не отвлекает. Именно вот таким он и представлял себе Пекин – мельтешащим, желтолицым и пахучим. При внешней серости город ощущается цветным, ярким, в нём, в этом народе, таится колоссальная взрывная сила, о которой именно сейчас заговорил похитревший Филос:

– Реакция может пройти очень быстро. Эта страна может чудесно перемениться в два-три года и тогда изобретёт нечто посложнее пороха. И ещё неизвестно, стоит ли так огорчаться на некоторых плохих китайских руководителей. Вот Япония, например...

И Филос остановился, прищурившись, устался на Хо Дзу-ми.

Путешественники давно уже блуждали в двориках Запретного города. Хетайрос изучал причудливые кровли, Ядид скармливал воробьям хлебные крошки. Редкие прохожие бросали взгляды на чёрные очки Хо Дзу-ми и старались побыстрее уйти с глаз долой.

– Далась вам Япония! Сегодня расцвет – завтра обветшание. Миром-то всё ещё правит золото, а оно – металл капризный!

– Вы так думаете? – ещё хитрее разулыбался Филос. – А разве в животных нет микроскопических драгоценных элементов?

– Это хорошая идея, – почему-то нервно расхохотался Хо Дзу-ми, – выпаривать из кошек, свиней и собак государственный бюджет!

«Чего он нервничает?» – подумал Хетайрос и хотел было спросить Ядида о теме разговора, но не успел.

– Так вы полагаете, что тайный интеллект или так называемая творческая энергия не имеют никакого влияния на ход истории? – подступил вплотную Филос, – вот, например, японцы – проделали в своё время с миром экономические трюки не без помощи интеллекта.

– Далась тебе эта Япония! – на каком-то совершенно не китайском языке прокричал Хо Дзу-ми, так что и до оцепеневшего Хетайроса дошёл смысл крика.

И в следующее мгновение Филос перегнулся пополам, охнул, и, проделав тройное сальто, грохнулся оземь. Всё случилось так молниеносно, что даже воробьи не успели испугаться. Хо Дзу-ми поднял упавшие очки, нацепил их и зашагал прочь, будто ничего и не было. У Императорской арки он остановился, сказал по-японски: «Я вас сразу расколол, хуйвибины вшивые», – и пропал за углом.

– Не зная броду – не лезь к народу, – философски проговорил Ядид, глядя на охающего «шанхайца». – Надо было хоть как-то сгруппироваться.

– Он что, в их безопасности работает? – заволновался Хетайрос.

– Да опусти ты трость! Китайцы смотрят!

Хетайрос действительно увидел смотрящих на его угрожающе поднятую трость. Он опустил её и сказал:

– Идидеся спокойнося, Хетайроса шутила!

Свидетели скандала покорно разошлись, а путешественники уселись на древние ступени, и Хетайрос спросил шёпотом:

– Кто он такой, этот китаец?

– Да какой он китаец! Я его сразу вычислил. Понимаете, ждал приёма каратэ, на крайний случай дзюдо, а он меня сложнейшим айкидо вертанул. Как это я не подумал! – Раздосадованный Филос стряхнул пыль со своего китайского мундира.

– Но самураише он матёрый! Только сразу прокол сделал – Хо Дзу-ми, говорит. Он такой же Хо Дзу-ми, как я неаполитанец!

– А кто же он? – изумился Хетайрос.

– Да японец он! Безо всяких дефисов, Ходзуми какой-нибудь «сан». И до чего наглый – очки надел и шастает среди бела дня, в айкидо упражняется. Куда только китайская милиция смотрит!

– Туда же, куда и ты, – лениво сказал Ядид и бросил воробьям остатки крошек, – на очки. Эффект простой – кто же в эту китайскую эру заподозрит в такой явной шпионской экипировке профессионального разведчика? Вот разве наш Филос способен предвосхищать события и попадаться на такие фонетические удочки, как Ход Зуми. Я припоминаю некоего француза Зуми, разработавшего шокирующий метод маскировки – его так и называли «Ход Зуми» – позже он забылся, а вот наш пекинский супермен его каким-то образом откопал.

– Так ты знал об этом с самого начала? – обиделся Филос.

– Да нет, с тех пор, как ты его японцем назвал. Кстати, он такой же японец, как я индус.

– Но кто он тогда? – и Хетайрос ударил тростью по древнему камню.

– По национальности – не знаю. Но если бы вы попристальней посмотрели, когда у него упали очки, то увидели бы вполне голубые глаза.

– Да у него кожа жёлтая и нос, и волосы, у него даже зубы как у первосортного китайца! У него...

– С чем его и поздравь, – остановил Филоса Ядид, – ты минуту назад назвал его японцем, а теперь говоришь, что у него китайские зубы. Тебе нужно признать поражение.

– Признаю, – согласился Филос, – но я не знаю ни одного разведцентра, где смогли бы выковать такого виртуоза. А ты что думаешь?

Хетайрос чертил тростью по зёрнышкам песка. Он уже понял, что дело гораздо серьезнее, чем международный шпионаж. И теперь прикидывал – стоит ли продолжать это путешествие и не лучше ли было бы резко изменить маршрут.

– По-моему, всё гораздо серьезнее. Это был не человек. И нам нужно что-то придумать.

– Не говори чепухи! – возмутился Филос. – Кем ему быть, если не гомосапиенсом. Он оказался разумнее меня.

– То-то и оно, что разумнее. А кто может быть *разумнее тебя*?

– Действительно, – задумался Филос, – вроде бы некому.

– Так ты считаешь, что это...

– Да, Ядид, именно это я считаю. С тех пор, как мы вместе, я ощущаю его внимание. Я не хотел говорить, пока не было ничего явного, но сегодня именно такой случай. И по-моему, мы здесь уже ничего не сделаем. Придётся довольствоваться сегодняшним днём.

– Но у меня ничего нет! – вскричал Филос. – Я был занят болтовнёй с этим шпионом. Я ничего не успел!

– Не огорчайся, хватит и моего, да и у тебя, Ядид, что-нибудь найдётся?

– Да, – вздохнул Ядид, – китайские болванчики, два поэта, одна мелодия и кое-что по мелочам.

– Да это же крохи! Я настаиваю на продолжении. Чего бояться!

– Пригодится и это, – решающим голосом подвёл черту Ядид.

И возражений не было.

Хетайрос встал и стуча тростью направился к выходу из Запретного Старого города. Ядид похлопал Филоса по плечу и тоже удалился, а Филос остался сидеть.

Он был неподвижен, как камень, и винил себя за страсть к разоблачениям.

Никому ещё не удавалось выбираться из его ловушек, о них разбивались любые иллюзии и обманы. Не было такого плана, в котором он не находил бы изъяна. И пусть этот Хо Дзу-ми оказался бы кем угодно, даже пингином, но он не вправе был обзывать хуйвибинами. Так борцы не поступают. И сам Филос никогда не отыгрывался на побеждённых.

«Да, – вздохнул он, – здесь уже занято», – поднялся и, проходя мимо Императорской арки, вспомнил, как победитель говорил о золоте. Тут же мгновенно в его сознании возникла структура нового разоблачения. Ему стало абсолютно всё ясно. Он даже понял, что усилительная частичка «архи» была вставлена в разговор для ещё большего запутывания, для очередной неверной разгадки.

«Золото – вот где ключ! Всегда забываешь какое роковое свойство имеет этот металл!»

И догнав своих спутников, Филос полностью ушёл в анализ ситуации, так что последующие десять дней они не слышали от него не звука.

Они уходили, а в Пекине наступал вечер.

Было ещё светло, когда к восточным пригородам притаился странный сизый туман. Он поднимался всё выше, так что наконец накрыл близлежащие холмы и вырос в серый экран.

С пекинским населением произошло чудо. В кои веки оно перестало суетиться, замерло и уставилось в небо, туда, где возводился туманный город.

Вот ещё одно незримое дуновение, и ясно очертились шпили замков и соборов, обозначились резные колонны и легковесные арки. На какое-то мгновение здания застыли в чётком, законченном выражении и тут же потрескались, поплыли, покрылись пеленой, и одни дворцы сменились другими, на месте замков появились башни минаретов – и вновь всё замерло в торжественной паузе, поразило величию и вновь переломились. Один стиль сменялся другим, и что-то было знакомым, а что-то совершенно неземным. Но в каждом новом создании узнавалось *суровое холодное мастерство – твёрдая рука незримого импровизатора*.

Порой казалось, что этот архитектурный калейдоскоп – гигантская насмешка над всеми земными усилиями, в другую минуту зрители ощущали приливы сладких восторженных чувств и как бы сами не то угадывали, не то додумывали туманные контуры и ясные очертания. Ожившее пекинское воображение гуляло в небесном государстве, не имеющем границ и пределов.

Никто не успел почувствовать приближения конца, когда очередное суровое сооружение затрепетало, потрескалось и рухнуло, обострившись горами развалин. Сизые осколки побелели, съжились, лопнули, и от бывшего величия осталась крохотная белая тучка, неотличимая от других она медленно поползла в сторону северо-запада.

Представление окончилось. Но ни одной китайской монеты не было уплачено за неповторимое зрелище. Не было и аплодисментов.

Народ расходился в великом *недоумении*.

Прежняя пыльная суета завертела свою шарманку, и в правительственных жилищах опустились шторы.

Переполненный город покатился навстречу завтрашнему дню.

Возбуждение гасло, прячась в закутки старческой памяти.

Плоские крыши погружались в ночной мрак.

В тусклых зеркальцах водоёмов замигали первые звёзды.

Всё вставало на свои места, возвращаясь к привычной очевидности.

И только пекинские мальчишки пребывали во всевозрастающем *недоумении*, благодарили и принимали этот обыкновенный мираж всерьёз.

Абориген

К нам приходят письма со всех уголков страны. Есть корреспонденция и из-за рубежа. В основном задают один и тот же вопрос: «Что такое дружба?»

Вернее даже так: «Возможно ли это явление в наше непростое время?»

Мы хотим ответить сразу всем – нет, *дружба – это миф*, и если кто-то жертвует собой ради другого, то в этом нужно разобраться.

Вот, например, человека не обязательно сажать в тюрьму, чтобы сделать его заключённым – для этого проще содержать его в лагере тупости, окружив недоумками и дегенератами. Поверьте, скоро бедняге станет совсем несладко и он навсегда перевоспитается.

Так же и с дружбой. Совершенно обыденные инстинкты называются благородными созвучиями.

«Наших быют!» – не правда ли знакомый призыв.

И вот уже в ход идут финские ножи и итальянские кастеты. И это после двух месяцев похлопываний друг друга по плечам, десяти литров разделённого алкоголя и фальшивых подростковых исповедей.

Кажется, найдены общие вкусы и родственность ощущений, принесены жертвы в виде денежных знаков, предметов первой необходимости и необдуманных вмешательств в чужие дела. И громогласно заявляется, что человек добыл дружбу и готов продемонстрировать свою верность обрезанием головы любому обидчику друга. И ведь отрежет. Будет терзаться, сомневаться, ужасаться сам себе, а кого-нибудь да звезданет хотя бы по физиономии. И если всё, не дай бог, закончится тюрьмой, задастся несчастный вопросом:

«Какого лешего я так безрассудно вляпался?»

Тогда мы придём к нему в вонючую камеру и ответим:

«Страх это, дружок. Извечный, закабаляющий страх. Он сидит всюду, и потому, бывает, малое количество побеждает большее, умные попираются дураками, и какая-нибудь гниль возводится в образец качества».

Не так то просто понять, что в основе многих любований, милосердий, геройств лежит глыба холодного страха. Можно назвать его страхом одиночества, но точнее – это инстинкт стадности. А ещё определённое – ужас перед угрозой самому разобраться во всей этой необъяснимой действительности, бегство от усилий, от необходимости самостоятельных решений...

Здесь мы вынуждены поставить многоточие и поведать о мизантропе. Это тоже одна из тем, которая не перестаёт волновать жителей всех уголков планеты.

Водятся ли ещё эти уникальные существа? – спрашивают любители природы. Не истребили ли их полностью человеколюбцы? – переживают энтузиасты-экологи. И всё это не так смешно, как многим покажется.

Да, да, не стоит обхохатываться по поводу столь печального явления. Когда-то мизантропы украшали планету. У них не было недостатка в пище, и поэтому остаётся загадкой – почему они вымерли. Этот уникальный вид, подаривший потомкам столько разноречивых и живописных останков образа жизни, ритуалов, таинств и продуктов своей жизнедеятельности, как-то незаметно был вытеснен наиболее жизнеактивными и миролюбиво настроенными соплеменниками.

Кто занял нишу камчатской коровы? Гурманы просто трясутся от бешенства, узнав, что её мясо не портилось годами, что её жир мог поднять из гроба покойника, и что она питалась водорослями, которые ни до, ни после неё никому не пришлись по вкусу. А её бесподобное молоко? А безобидный норов, когда её можно было уничтожать обычным булыжником, отчего она даже не мычала?

Что после этого можно сказать о мизантропии – об этом скромном, самокритическом явлении, когда ослу стыдно за своё рабское ослиное племя, а киту обидно, что он не умеет парить в небесах и день за днём вынужден пересасывать тонны воды ради нескольких центнеров калорийных букашек. Вот и лопалось тысячелетнее терпение – и начинался одиночный бунт. И тогда на эту исхудающую громадину мигом набрасывался весь морской люд. Но прежде чем от неё оставалась горстка известняка – известие о бунте доходило до малолетних китят, и, может быть, не зря в научных кругах ходят слухи, что эти животные когда-то выбирались на сушу и снова возвращались в обетованные воды.

Так или эдак, но мы можем влить небольшую струю оптимизма в сочувственные и милосердные сердца. Не выдавая координат и фамилий, сообщим, что, по крайней мере, нам известно о существовании двух мизантропов, усердно скрывающих свою принадлежность к некогда процветавшему виду. Их мировоззрение с трудом поддаётся описанию, и поэтому мы не ручаемся за красоту нижеследующего изложения.

Нужно добавить, что в глубине души абсолютно все склонны к мизантропии, так как любовь к искусству и интерес к странным явлениям (в том числе, к инопланетянам) есть ничто иное, как неопознанное желание вырваться из тисков человеческих форм. Кто же М и з а н т р о п

он? —

Мы робко надеемся, что теперь, после наглядных примеров, вызванных усилиями вашего воображения, многие переменят своё отношение к мизантропии, – этому детскому королевству прямых зеркал, – и при встрече с его малочисленными подданными не будут потрясать своим гуманистическим оружием и угнетать демонстрацией оптимистических воззрений. Тогда, быть может, удастся сохранить человеческое племя разношёрстным, имея в виду, что и сегодняшний гуманоид-тиран бьёт себя в грудь, клянясь в любви, ни больше, ни меньше, как к своему народу.

А пока ответим, что дружба всё-таки существует, если не пренебрегать случайной цифрой в умножении вражды, глупости и лицемерия. Обычно один поглощает другого, когда этот другой не может в одиночку перебороть свой стадный страх. А талант поглощает всех, кроме самого себя и таланта равного себе. И если в дружеские отношения закралась зависть, эта не приручаемая и коварная собака, или же один из двух благороден, но бездарен – о какой дружбе может идти речь, когда один из двух постоянно ощущает себя обглоданным и бездомным.

Посему мы можем резюмировать, заметив, что самые страшные боины бывают между бывшими мнимыми друзьями и влюблёнными.

Проба пера

Когда Артур Мстиславович Тинусов объявил себя богом – компетентные органы им заинтересовались.

Казалось бы, к чему атеистическим службам этот самодовольный еретик, но нет, слежка началась тотальная, и где-то в верхних этажах срочно подготавливался проект закона, запрещающего объявлять себя божествами, сатанами, любыми их приближёнными, в том числе кентаврами, русалками и иной сказочной нечистью.

Дело в том, что сотрудники и агенты ежедневно докладывали начальству всякую чепуху – то они чувствовали неприятные запахи, когда подслушивали и находились практически на своих рабочих местах, то видели Тинусова в окружении каких-то призрачных подобий людям и животным, то он распоряжался и безобразничал в их снах, то так стремительно уходил от слежки, что у преследователей ручьём текли слёзы, и до того рябило в глазах, что они начинали путать цвета и их приходилось дисквалифицировать.

Сначала начальство не придавало особого значения фантазиям подчинённых – в последнее время трудно было набрать хороший штат сотрудников, и все происшествия с Артуром Тинусовым списывались на слабый профессионализм и разжиженный головной мозг агентов. Начальство выходило из себя, само ходило на проверки, ничего не видело и не признавало объяснений, будто бы Тинусов хитрит, специально прикидываясь бедной овечкой.

– Вы его просто боитесь! – кричало начальство. – Может быть, вы признаете, что он действительно бог?!

– Та бис его знае... – начинал агент.

– Не ломать! Не смей ломать великий язык! Опустить руки! Руки по швам! – так белеело начальство и посылало шифровки наверх с просьбой выслать настоящих профессионалов.

И всё бы начальству было понятно, если бы не парочка серьёзных подозрений.

Пусть бы этот самозванец объявлял себя хоть Большой Медведицей – всё равно население осталось бы равнодушным – кто же пойдёт за человеком, у которого рыжие волосы и смоляные усищи? Население и распять бы такого не потребовало – так что никакой угрозы отечеству. Побесился бы, повзывал и лёг бы в могилу простым смертным – мало ли кто себя кем объявляет.

А не проще ли запечатать Тинусова в хорошую клинику на полное гос. обеспечение? Да ведь возопит всё прогрессивное человечество, такую рекламу сделают, что тогда и за рыжим пойдут и со сладострастием над ним же насильничают. Так что это не выход.

Вот уже несколько дней, как располагает следствие достоверными данными, что иногда бывает Артур Мстиславович одновременно, по крайней мере, в трёх городах.

Точно зафиксировано, что в одну из суббот в Москве и Владивостоке звонили в отделения милиции и сообщали, что слышали из соседней квартиры душераздирающие крики. Во Владивостоке милиция ворвалась в квартиру и обнаружила тёплый окровавленный труп. В Москве же дверь открыл человек с ножом. Нож был в крови, человек растрёпан, со ссадинами и в состоянии предельного возбуждения. Он кричал:

«Наконец-то я разделался с ним! Я свободен! Теперь-то я с ним рассчитался!»

Никого в квартире не обнаружив, и не найдя никаких следов жертвы, оперативники всё же отвезли москвича в отделение. Там он успокоился и стал требовать адвоката, прокурора и прямой эфир.

До сих пор компетентное начальство сожалеет, что всё это ему не было предоставлено. С прямым эфиром всегда можно как-то схитрить, а всё остальное – вообще театральные пустяки. Подозреваемый исповедовался бы сам, и теперь не было бы нужды запрашивать про-

фессионалов и копаться в этом, если и не безумном, то очень подозрительном самодовольном антихристе.

Московская милиция, исследовав кровь с ножа и из пальца подозреваемого, быстренько отпустила его на все четыре стороны, так как кровь оказалась одна и та же, а задерживать человека без веских оснований давно уже считается безнравственным.

Москвича вытолкали насильно, он и уходить-то не хотел, требовал прессу и прочее. Но ему отдали его же кухонный нож и сказали, что «у нас и так достаточно юридических ошибок, и все давно чтят презумпцию невиновности, а если ему хочется пострадать или сделать заявление, то с этим лучше обратиться к психиатру, туда, где абсолютно ко всем относятся с сочувствием, предупреждая любые желания и требования».

Ясно, что в этом столичном отделении перестраховались, за что и получили нагоняй.

А вот Владивостокские пинкертонеры капнули глубже.

Просмотрев документы убитого, лейтенант Афогионов отметил, что два года назад потерявший проживал в Москве, и сделал запрос на его имя в то самое столичное отделение.

Какое же было изумление делопроизводителей, когда они увидели две абсолютно одинаковые биографии. Не сходились они лишь в том, что москвич, тоже два года назад проживал во Владивостоке, в квартире, где был найден убитый.

Кинулись искать москвича, но его и след простыл. По-видимому, он даже не возвращался в квартиру, на чём и соседи настаивали.

Объявили розыск, и через полмесяца разыскиваемый кандидат был обнаружен в маленьком городе Тинюгале в трёхстах километрах от Москвы. Им оказался тот же Артур Мстиславович Тинусов, чьи анкетные данные полностью совпадали с москвичом и убитым, разве что он никогда не был прописан в Москве и Владивостоке, но был вылитым убитым и беглецом.

Сначала его хотели тут же хватать и проводить интенсивное дознание, если бы не вмешались более компетентные органы. Они не могли промолчать и утаить, что в ту самую злосчастную субботу Артур Мстиславович был в Тинюгале и из дома не выходил, но доподлинно, минута в минуту, известно, чем занимался. Алиби у Тинусова оказалось прямо-таки стальным.

Правда, и в тот день агенты ходили и жаловались на неприятные запахи, но никаких сомнений не вызывало, что в момент убийства Тинусов мирно храпел на своём облезлом диване, как обычный смутяня, объявивший себя мессией на расстоянии в семь тысяч шестьсот пятьдесят девять километров от Владивостока. И это могли подтвердить семеро честнейших сотрудников и испытанная отечественная аппаратура.

Тем временем личность Тинусова профигурировала в ещё более крамольном деле.

В Тинюгал пришли описания внешности на ещё одного преступника, и они полностью подошли к размерам лица Артура Мстиславовича. В том числе чёрные усы и рыжие волосы.

Из центра срочно прибыли два следователя по особо важным делам, и тинюгальскому начальству было поведано, что из Алмазного фонда, из самого Кремля, были похищены три килограмма платины в виде многочисленных бесценных украшений и всяческие произведения искусства.

Всё это богатство исчезло так, что ни одна из систем сигнализации ни разу не звякнула. Просто – были вещи и сплыли. Но следы всё-таки обнаружились.

В помещениях, где хранятся драгоценности, стоят телекамеры, и вот при просматривании записи следствие увидело человека – нагло глядящего в глаза следствию. Он смотрел всего несколько секунд, послал воздушный поцелуй, и дальнейшего ни одна из камер не отразила, хотя дежурные утверждали, что никаких поломок в день ограбления не было и вообще быть не может.

Эти несколько кадров были размножены, и все, кто их изучал, испытывали неприятное чувство: уж больно нагло и самодовольно смотрели эти голубые глаза и топорщились чёрные усищи.

В Кремле были проверены и досмотрены все, не исключая и членов правительства. Создали высокую комиссию и подключили к следствию половину страны. Проконсультировались у ведущих экстрасенсов, фокусников и рецидивистов. И вот, наконец, поступила информация из Тинюгала.

Казалось, преступник найден, но тут вновь на сцену вышли компетентные органы и, проклиная сами себя, представили полное алиби Артуру Мстиславовичу.

В день ограбления он беспрерывно молился в своей квартире, о чём красноречиво говорила тайная магнитофонная запись. Само начальство в тот день наблюдало за его мелкими передвижениями по городу – от продуктового магазина до канцелярских товаров и обратно, с двумя заходами в места общественного пользования.

Прошение начальства было удовлетворено, и из центра в Тинюгал прибыли лучшие профессионалы страны – гордость компетентных служб, интеллектуалы с мгновенной реакцией.

Возглавлял их тридцатилетний Гавриил Лагода, больше известный под кодом «*полковник Шок*» – проницательности которого опасался сам прокурор федерации.

Полковник молча изучил документы, заявления городским властям о божественной сущности, и, не задав ни единого вопроса и не прощаясь, вместе со своими хладнокровными ребятами, вылетел во Владивосток.

Местное начальство, затаив обиду на такое элитарное поведение, произвело нелегальный обыск на квартире у Тинусова, ушедшего поплавать в сточном пригородном пруду.

Этот, уже не первый, обыск, дал неожиданные результаты: в комнате у Тинусова оказалась новая мебель – универсальная, исчезающая в стене кровать, массивный дубовый стол, кресло-качалка, мохнатые ковры, стеллаж с древними книгами и масса других мелких антикварных предметов. Когда и как он умудрился всё это втащить в дом – было совершенно непонятно.

При исследовании мебели криминалист обратил внимание на отсутствие выпускных данных, и лишь под крышкой стола был приклеен ярлычок со словами: «*благодарим за внимание*».

Перед уходом с обескураженным начальством приключилась маленькая история.

Заглянув в туалет, оно увидело величественную персону, заканчивающую свои природные надобности. Начальство онемело, ибо тот час узнало императора Наполеона – словно бы люминесцирующего, поблескивающего какими-то матовыми цветами.

Император был весь в себе, и начальство, тактично зажмурилось, захлопнуло дверь. Но тут же опомнилось и открыло снова – ещё моталась цепочка слива, ещё грохотала прибывающая в бочок вода – но императора не было, и резкий запах, тот самый, на который жаловались агенты, ударил начальству в нос.

В тот же день оно слегло от испытанного потрясения. Нет, оно не поверило в Наполеона, но этот запах – он преследовал даже тогда, когда в ноздри запихивались ватные пробки.

Это было невыносимо!

И начальство подало в отставку.

Шок – 1

А в тот же час город Владивосток встречал гостей.

Полковник Шок остался недоволен пышным приёмом.

Правоохранительные люди действительно перестарались, и картеж из девяти машин походил на свадьбу дочери мафиози, так что постовые на перекрёстках отдавали честь легендарному сыщику, с недовольным выражением лица, качающемуся за задёрнутыми занавесками.

Гавриил мимоходом отметил, что и на этот раз ему не придётся омыться водами Тихого океана. Одно из его детских степных желаний – искупаться во всех мировых океанах – сегодня вдруг вспомнилось, когда где-то за лобовым стеклом мелькнул кусочек моря.

Гавриил вспомнил и мать, похороненную в тех же степях, и сердце его нехорошо сжалось, – может быть он для того и старался и ненавидел своё детдомовское детство, чтобы его вот таким увидела мать. Но она не успела, не захотела вообще что-либо видеть, и теперь вот он красуется сам по себе и восхищает любителей детективного жанра.

Он знал, что по всей стране о нём ходят совершенно дикие слухи. Он стал человеком-мифом, и при контакте с коллегами всегда видел вопросительные знаки на их физиономиях. Они полагали, что он должен быть эдаким жеребцом с ледяными гляделками, а он вообще избегал смотреть в глаза – достаточно было одного косого взгляда, чтобы ощутить мировоззрение человека.

И он его, это мировоззрение, действительно как бы ощупывал, перебирал, как какой-нибудь способ вязания, а когда слышал звучание голоса, ещё глубже входил в него. Сочетание слов говорило ему о многом – это был всегда ключ к разгадке души, он чувствовал вибрацию фальшивых слов, когда читал лживые показания, слова дрожали, пружинили, как бы отслаивались от бумаги, не ложились на неё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.